

Вот умер Евтушенко. Больше в России нет поэтов?

Иван Кузькин, Саратов

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемый Иван! В России еще остались настоящие поэты. Просто государству на них глубоко наплевать. Недавно один из лоснящихся от икорной диеты крупных чиновников заявил, что поэзия у нас на подъеме. Тут банальная подмена. На подъеме у нас дешевая, полуграмотная, стихоплетная самодеятельность от Сети до самых до окраин. Именно это одобряется сегодняшними властью имущими. Да и сами чиновники и отпрыски их крапают рифмованные опусы совсем не державинского уровня. Этим многое и объясняется.

Евтушенко — последний поэт, которого жители России знали в лицо. Евгений Александрович смог на-

сладиться всеми благами государственной поддержки советского времени. Поэтическая личность Евтушенко состоялась благодаря именно государству СССР. Но были настоящие яркие поэты, которые состоялись через протест, через противостояние, через «лингвистические» разногласия с государством СССР. Состоялись вопреки! Их зачастую не знали в лицо (не знают и ныне), но созданное ими передавалось как сокровище — от поколения к поколению. К таким поэтам принадлежит Владимир Дмитриевич Алейников. Он с нами в этом номере.

NOTA BENE

Владимир Алейников, русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей

эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», «Дон». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

Владимир Алейников:

«ПУСТЬ ВСЕ НАХОДИТСЯ В ДВИЖЕНИИ...»

— Владимир Дмитриевич, хороший поэт — это жизненный опыт и мастерство. В какой пропорции они должны быть, как Вы считаете?

— Поэт — это прежде всего дар. Чем крупнее дар, тем значительнее поэт. Без жизненного опыта трудно представить любого человека. В том числе и поэта. Больше ли, меньше ли, но есть этот опыт у всех. Мастерство необходимо тоже каждому, каким бы делом он в жизни ни занимался. Хороших поэтов на Руси раньше, на протяжении предыдущих столетий, было немало, да и нынче, в начале нового века, они все-таки есть. Аркадий Акимович Штейнберг, поэт и переводчик, у которого за плечами был огромный жизненный опыт, включавший Отечественную войну и лагеря, в прежние годы говорил: «Русская поэзия — это такая армия, где взводами генералы командуют». Имелось в виду, что в нашей стране хороший поэт — вовсе не редкость. А великих поэтов — единицы, в любую эпоху, какой бы прекрасной или сложной она ни была. Важно, как поэт распорядится своим даром — некоторыми способностями, талантом или даже гением. Вот здесь и нужно мастерство. Надо уметь работать. Надо быть настоящим тружеником. Например, давний мой друг молодости и соратник по СМОГУ Леонид Губанов обладал крупным даром, ярким, стихийным, данным ему от природы. Но так и не сумел свою избыточную стихийность организовать, отнестись к ней разумно. Поэтому его стихи, переполненные плещущей через край энергией, хаотичны, в них вдосталь провалов, нелепиц, повторов, несмотря на немалое число замечательных строк и фрагментов. А другой мой давний приятель, Александр Величанский, обладавший даром совсем иного рода, сумел создать свою поэтику, организовать свои стихи. И они, при минимуме образительных средств, максимально воздействуют на читателей. Важна и культура, образованность поэта. Без этого заниматься писанием стихов не стоит. Самообразование должно продолжаться всю жизнь. Совершенствоваться — надо. Иметь трезвый взгляд на себя и на свои писания, чтобы не самообольщаться и не попадать под влияние похвал, порою искренних и вполне заслуженных, но иногда и лживых, тоже надо. Пройти хорошую школу, чтобы обрести мастерство, — надо. И так далее. Сплошное «надо». Но прежде всего — нужен дар. Человек сам обычно понимает, каков он у него, этот дар. И никаких кривляний, никакого притворства здесь быть не должно. Дар осознается человеком и ведет его — в жизни и в

творчестве. С одаренностью у основной массы стихотворцев — совсем туго. В затянувшийся период нынешнего «как бы времени» появилось несметное количество людей, сочиняющих стихи и почему-то считающих себя поэтами. Но это ведь — та самая «армия поэтов», о которой еще в двадцатых годах минувшего столетия провидчески писал Мандельштам. То есть — некое гипертрофированное, разномасштабное собрание, необъятное пустое место, спешно заполняемое что-то там сочиняющими и при этом весьма амбициозными людьми, этакая дикарская тусовка, всеобщая лихорадочная пляска на рассыпающихся вдребезги никудышных стихотворных строчках, как на чьих-то костях. Поэзия не стит за варварское отношение к ней. Обращаться с ней следует бережно. Ее надо чтить и беречь. А сейчас — и спасать. Во всем, всегда и везде, нужна мера. Это хорошо, намного лучше других, понимал Николай Заболоцкий. Все его позднее творчество — изумительный синтез, где традиция в родстве с авангардом, где благородство и чувство меры, боль и радость, весомость каждого слова и метафоричность, гармония и фантазия, любовь и вера образуют неразрывное единство и продлевают дыхание речи, — настоящая русская классика. Авангард хорош тогда, когда в основе его лежит традиция. А традиция — понятие уникальное, универсальное, многогранное, органически включающее в себя, как необходимое звено, и авангард. Нынешние записные авангардисты, в основном люди малоталантливые, часто, как щитом, прикрываются Хлебниковым. Но у Хлебникова в стихах абсолютно все органично, даже в его экспериментальных вещах, и это грандиозный поэт. Что же такое авангард? Это — новизна. Новый звук, новое отношение к метафоре, новая структура стиха, новизна восприятия действительности, новизна в осознании мира как единого целого. Незаемная. Личная. Собственная. У каждого поэта — своя. Да еще и узнаваемость. Наилучшая — мгновенная. Даже по одной строке. Свой голос. В котором все тона буквально лучатся новизной. Свой лад. Своя музыка, без которой поэзия вообще невозможна. Свое дыхание. Свои ритмы. Новизна предельно искренняя, чистая, такая, как в детстве, с именно детским, уцелевшим, проявляющимся в любом возрасте, изумлением перед распахнутым зрению и слуху миром. И это есть у всех крупных русских поэтов. На русскую поэзию двадцатого века основное влияние оказали два поэта — Иннокентий Анненский и Велимир Хлебников.

Без Анненского не было бы ни акмеистов, ни Пастернака. Без Хлебникова не было бы Хармса, Введенского. И второго периода поэзии Осипа Мандельштама, начиная с двадцатых годов и заканчивая «Воронежскими тетрадами», не было бы, я уверен в этом, без основательных бесед Мандельштама с Хлебниковым, без внимательного чтения им хлебниковских текстов, без хлебниковского воздействия на него, оказавшегося более чем благотворным. Хлебникова всю жизнь читил и Заболоцкий. Но посмотрите, как великолепно усвоил он хлебниковские уроки, насколько полезной для него оказалась эта школа, как верно и умно понял он главное, важное для него, развил и укрепил уже собственными открытиями и достижениями. Так что воздействие и влияние обнаружить можно у всех поэтов. Более того. Поскольку поэтическая материя едина, у поэтов, живущих в разные эпохи, бывают почти буквальное совпадения в стихах. Во вселенной все построено на вибрациях. Поэт улавливает эти вибрации и выражает их в слове. В русской поэзии все взаимосвязано, переплетено, соединено незримыми, духовными нитями. Лучшие ее образцы — выражение всего сущего. Главное в поэзии — речь. И это действительно — наше все.

— Ян Бруштейн назвал Вас поэтом, свободным от времени. Согласны с таким определением? Какова цена этой свободы?

— Такое определение переключается со словами Евгения Рейна, сказавшего, что все поэты (он выразился: «все мы») — патриоты времени, а я — патриот пространства. Почему я свободен от времени? Величканский писал, что время — мой кровный должник. Но есть ли оно, время? Достоевский в этом сомневался. И действительно, что это такое — время? Почему привыкли мы к тому, что оно существует, влияет на нашу жизнь? Поскольку другого определения для того, чтобы обозначать некие отрезки человеческого существования, нет, приходится примиряться с тем, что оно, время, есть и немало всего значит в жизни. Я свободен от времени, навязанного мне извне — допустим, режимом, делающим его сложным, драматичным, или даже трагичным, или чем-нибудь еще, дисгармоничным для моей жизни и творчества, чуждым для меня. Свобода нужна мне так же, как дыхание. Цена этой свободы чрезвычайно высока. По существу, в своем многолетнем служении добру и свету, с арсеналом своих писаний, стихов и прозы, с непрерывным выживанием и выстаиванием, со своей позицией человека, не желающего участвовать в хаосе, со своим образом жизни, разительно непохожим на жизнь современников, с ясным пониманием того непреложного факта, что занят я своим делом, тем, к которому призван, я нахожусь в постоянном сражении со злом, во всех очевидных и скрытых его

проявлениях. И поэтому необходима мне и жизненно важна моя независимость от всего, что мешает мне жить и работать. Пресловутого литературного процесса нет и быть не может, потому что литературу создают одиночки. В любых условиях, в самых разных, даже отчаянно трудных обстоятельствах, я всегда оставался самим собою. Конечно, непросто вести себя именно так. Но это — моя жизнь. И мой путь. И я поступаю так, как считаю нужным. И никто мне на пути моем не указ. И мое время — всегда со мной. Здесь и повсюду. Почти тридцать лет назад один понимающий поэзию человек сказал, что я уже часть будущего. Знаю, что стихи мои будут жить и в грядущем. А в настоящем — надо много работать. Надо заслужить пропуск в грядущее. Обычно я говорю: каждому времени — свои песни. В шестидесятых годах, крылатых, благодаря молодости, с ее дерзаниями, с постоянными открытиями, с усвоением и постижением всего, что пришло ко мне тогда, и культуры, и жизни, я писал стихи так, как это было созвучно этому времени, в семидесятых, драматичных, а порой и трагичных для меня, — уже по-другому, в восьмидесятых, когда весь прежний андеграундный уклад моей жизни претерпел изменения, поэтика тоже менялась, в девяностых, когда я обостренно ощущал, что нахожусь на грани двух эпох, уходящей и приходящей, на разломе, стихи мои выражали это состояние души и сердца, в новом веке стихи впитали токи нового времени, которое стараюсь я осмыслить и выразить в своих вещах. Каждый мой творческий период — это движение вперед, вглубь и ввысь. Имя времени — наше слово. Наша русская речь. Покуда жива наша речь, все мы живы.

— Более четверти века Вы живете наедине с Коктебелем. В чем особенность этого места?

— Коктебель — благодатное и благословенное место. Здесь жив дух. Здесь есть прямая связь с космосом. Живу я здесь с 1991 года. Впервые в Коктебеле я оказался в мае 1964 года. И сразу понял: когда-нибудь я буду жить именно здесь. В последующие годы я постоянно, часто приезжал сюда, подолгу здесь обитал. Я знал Марию Степановну Волошину, старых коктебельцев, из волошинского круга, дружил с Марией Николаевной Изергиной, великой женщиной, в доме у которой десятилетиями бывали лучшие люди страны. Можно сказать, что живу я здесь, если учитывать прежние мои частые приезды, дольше Волошина. И написал здесь больше, чем он. Я терпеть не могу, когда меня сравнивают с Волошиным. Мы совершенно разные люди. Только и у него, и у меня по отцовской линии — запорожские, казачьи предки. Вот и все. Фамилия Волошин — не от цветка василька, по-украински — волошки. Волошин — прозвище. Выходец из волошских земель. Некоторые шутят,

что нынче волошинский профиль на скале, известный всем, сменился моим профилем. Все это — чушь. Разные люди, разные характеры, разное творчество. Я вырос на Украине, в Кривом Роге, среди скифских степей. И Коктебель я воспринимаю как часть моей Великой Скифии. Да и сам я, особенно с годами, седой, бородатый, похож на скифа. Посмотрите в Эрмитаже изображения скифов — и убедитесь в этом. Но я не просто похож на скифа, я и есть скиф. По семейным преданиям, наш древний род существует еще со скифских времен. Скифы украинских, причерноморских степей — это и есть казаки. А казаки — народ, крепкая ветвь могучего общерусского древа. Коктебель — еще и мистическое место. Творчество любого рода обретает здесь новое дыхание. Вот и выходит, что поселился я здесь вовсе не случайно. Так было предопределено. В прежние годы, когда были живы мои родители, я часто приезжал на свою родину, в Кривой Рог. Там есть друзья и знакомые, там довольно много почитателей и ценителей моих писаний. Там устраивали мои творческие вечера, выставки моей живописи и графики, публиковали мои тексты в местных изданиях. Но теперь на Украине — хаос, период смуты, гражданская война. Дом, в котором я вырос и столько всего написал, в котором долго жил и работал мой отец, Дмитрий Григорьевич Алейников, замечательный художник, в котором жила моя мама, Мария Михайловна Железнова, выдающийся педагог, учитель от Бога, в котором было в прежние времена так много всего доброго и светлого, полностью разграблен. Исчезли все отцовские картины. Да вообще все, что было в доме, исчезло. Зачем-то спилены деревья и виноградные лозы в саду и во дворе. Все загажено. Словом, руины былого рая. И все это — при афишируемой любви и уважении земляков ко мне и к моему творчеству. И вот уже третий год не бывал я на родине. С грустью приходится сказать, что ездить туда стало опасно. Сплошная боль. Остается — вспоминать прошлое. И оно не где-то далеко от меня. Оно — близкое, живущее во мне и сейчас. Каждый день вспоминаю я детство, юность, родителей, нашу природу, особую, светлейшую музыку былого, все, что было когда-то песней, сказкой и явью, что способствовало моему становлению, что было той драгоценной, необходимейшей для пишущего человека почвой, которую ничем не заменишь, что осталось в моей памяти, здесь, рядом со мной, навсегда. И понимаю: чтобы не мучиться так, находясь посреди непрерывных видений, сызнова оживающих событий, нахлынувших голосов, отголосков мелодий, разнообразных деталей и частностей, будничного и праздничного, утрат и обретений, прозрений и откровений, да вообще всего того, что составляло мою жизнь в минувшие годы, что наполняло ее, озаряло

немеркнущим светом, надо мне написать обо всем этом книгу. Надеюсь, я ее напишу. Коктебель — спасителен для меня. Здесь я живу как раз не наедине только с ним. Существует и связь со всем миром. Это здесь есть и необходимое для меня единение. Это когда-то, особенно в семидесятых, когда я семь с половиной лет бездомничал, скитался по городам, вел я вынужденную, подчеркну это, богемную жизнь. А по натуре своей человек я домашний. Раньше — любил путешествовать. А нынче трудновато мне стало передвигаться в пространстве. Вот и говорю порой: внешний мир — сузился, зато внутренний мир — непрерывно расширяется. Жизнь коктебельская — это еще и здоровье. А оно людям очень даже нужно, и это особенно остро понимаешь в зрелых своих летах. Жизнь коктебельская — это покой и воля. Только ко Пушкинские, а мои. Личные. Выстраданные. Оправданные всеми прежними, тяжелыми для меня годами. Дарованные мне свыше. Так я считаю. Знаю, что говорю. Жизнь коктебельская — это счастливейшая, радостная возможность свободного, независимого, полноценного творчества. Это — ежедневная, большая работа. Я здесь не курортничаю. Я тружусь. Коктебель — обретение дома. И уже не родительского, а моего. Коктебель — то место на земле, где мне хорошо, где легко мне дышится, где я чувствую себя лучше, чем в Москве, куда приезжаю иногда, ненадолго, зимой, и вскоре уже возвращаюсь обратно. Коктебель — мое земное пристанище. Многое из того, что я предвижу или предчувствую, сбывается. Сбылся и Коктебель.

— *Существует ли сегодня крымская литературная среда?*

— Откуда мне знать об этом? С местными литераторами я не общаюсь. Какой-то крымский союз писателей вроде существует. В Коктебеле, в сентябре, уже, наверное, чуть ли не пятнадцать лет подряд, проходит Волошинский литературный фестиваль. Меня на него периодически усиленно зазывают. Иногда я бывал там. На таких сборищах я чувствую себя инопланетянином. Или — как мой учитель Иоганн Себастьян Бах, на фоне собравшихся в пеструю стаю у моря и не очень-то профессионально, зачастую просто фальшиво, музицирующих современников. А в последние годы перестал я бывать на этом фестивале. И есть для этого весомые причины. Я считаю, что этот фестиваль — имитация некоей бурной деятельности, только и всего. Как, впрочем, и другие литературные фестивали, на которых изредка приходилось мне бывать. Не крымская, а коктебельская литературная среда существовала в шестидесятые и семидесятые годы, когда на веранде у Изергиной, или у Арндтов, или у Юрия Киселева, да и в доме Волошина, у Марии Степановны, собирались приезжав-

шие сюда творческие люди, когда здесь читали стихи и прозу, беседовали, когда человеческое общение было необходимым для всех, когда нас вдохновляла и поддерживала выжившая, жизнетворная здешняя свобода. Старых коктебельцев осталось мало. Порой мы общаемся. Но золотая коктебельская эпоха — в прошлом. Нынешние «новые коктебельцы», как они себя называют, — совсем другие люди. В общем-то неплохие. Но — без того огня, который был в людях когда-то, в минувшие времена. Ну а сам Коктебель — это и есть, для меня, среда. Среда обитания. Конечно, литературная. Ведь именно здесь я работаю. Общаться можно — с морем, с горами, с холмами, с деревьями, с цветами. Разумеется, и с людьми. Несмотря на то, что живу я затворником, ко мне иногда приезжают хорошие люди. Или навещают меня. Так что традиция общения, пусть и не такая впечатляющая, с размахом, как прежде, а поскромнее, избирательная, все-таки продолжается.

— *Про свою бытовую жизнь Вы говорите: «Довольствуюсь малым». Неужели отказались бы, к примеру, от автомобиля от восхищенного поклонника?*

— Да, я действительно в быту довольствуюсь малым. И давно к этому привык. В молодости средств к существованию у меня всегда было в обрез. В семидесятых, в период моих скитаний, нередко приходилось и голодать. Вот и выработалось у меня полнейшее равнодушие к тому, что называют «дом — полная чаша», и тем более — к излишествам. И автомобиль мне совершенно не нужен. В технике я ничего не понимаю. И откуда в наше время возьмется восхищенный поклонник, который вознамерится подарить мне автомобиль? Мои поклонники — люди скромного достатка. А богатые думают только о себе любимых. Один мой знакомый как-то подсчитал количество строк и авторских листов в изданных моих книгах и заявил, что, мол, если бы мне за мои писания платили так, как это было принято в советское время, то у меня мог бы целый парк автомобилей быть, — этакая напрасная математика, не вызывающая у меня никаких эмоций. За изданные книги и за публикации в периодике нынче ничего не платят. Литературные мои заработки редки. Да и то налоговая комиссия, обнаружив у меня, пенсионера, дополнительный заработок, запросто может вычесть с меня пенсию за несколько месяцев. Так уже бывало. И мне с большим трудом удалось отстоять свою пенсию за полгода. Оказывается, если получающий пенсию человек подрабатывает уборщиком, то пенсию у него не вычитают. Но у литераторов-пенсионеров, если обнаруживают гонорары, даже небольшие, пенсию отбирают. И тем самым создают для пожилых писателей тяжелые условия для жизни. В ПЕН-клубе, где я состою, мне рассказывали знакомые, что многие писатели, особенно пе-

реводчики, вынуждены отказываться от работы и от полагающихся за нее гонораров, чтобы пенсию свою сохранить. Вячеслав Куприянов даже опубликовал в «Литературной газете» гневную статью об этом безобразии с изыманием пенсий у писателей. Но статья эта положение не улучшила. Ни налоговики, ни богачи о писателях, бывших «властителях дум», посреди современных бредовых законов, не думают. Живу я в основном на пенсию.

— *Как часто Вы писали стихотворение с первой строки?*

— Очень часто я писал стихотворение именно с первой строки. Она ведь — камертонная. Рождает звук. Вытягивает за собою все остальное звучание, всю музыку. Так и в прозе. Первая фраза — главная. Она определяет все, что будет написано потом. А в этом «потом», как сказал Григорий Саввич Сковорода, «все происходит из бездны глубокого сердца».

— *Коллеги считают Вас поэтом-мистиком. Многие ли из написанного Вами сбывалось?*

— Вся настоящая русская поэзия — мистична. И Ригведа, созданная в Поднепровье и только намного позже, уже в Индии, когда на смену устной традиции, чрезвычайно живучей, существующей в народе до сих пор, пришла традиция письменная, наконец записанная. И «Слово о полку Игореве». И «Боянов гимн». И народные песни. И стихи русских классиков. Это заложено уже в самой нашей речи. И — в мироощущении. У меня — ведическое мироощущение. Я ведический поэт. И у этой нашей русской мистичности — свои особенности. Она — светлая. Она существует по законам вселенной. И дает человеку возможность чувствовать себя увереннее в мире. И дает ему право на разумные поступки. И дарует ему право на полноценную жизнь. О самих себе, о том, что сбудется, поэту лучше помалкивать. Все эти пророчества — сбываются. Губанов еще в восемнадцатилетнем возрасте написал, что умрет он в сентябре, в тридцать семь лет. Так все и вышло. Примеров подобных — предостаточно. Всевозможных предчувствий, предвидения будущего и прочих взглядов наперед у меня было много. И столько сбывалось, что я стал с этим вести себя осторожнее. Однажды, в феврале шестьдесят пятого года, в Крыму, в метель, ехал я по старой горной дороге на маленьком автобусе из Алушты в Судак. Ехал — и писал в пути одну большую и действительно мистическую вещь, которая называлась «Комедия». Когда я написал некоторые, как оказалось, провидческие строки, я вдруг отчетливо понял, что прямо сейчас автобус упадет в пропасть. И в тот же миг автобус начал съезжать в пропасть. И зацепился колесом за придорожный столбик, да так и застыл. И мы, немногочисленные зимние пассажиры,

чудом сумели выбраться из него. Долго мы стояли посреди метели. Наш автобус — висел над пропастью. Наконец из снежного роения появилась колонна грузовиков. И автобус вытащили на дорогу. И я добрался до Судака. Позже я понял, что в моих мистических строчках, написанных в автобусе, все же была надежда на спасение. Это — лишь один случай, хотя мог бы я рассказать истории и пострашнее, да не хочу этого делать.

— *В следующем году исполнится 55 лет с момента Вашей первой публикации. Как отметите эту дату?*

— Так уж получилось, что как поэт сформировался я рано. В шестьдесят втором, шестьдесят третьем годах, да и позже, в шестидесятых, я писал стихотворения и поэмы, от которых и теперь не отказываюсь. И это хорошие, сильные, особенно если учитывать возраст, в котором они написаны, и до сих пор меня самого иногда изумляющие, буквально сияющие новизной, с интуитивными находками и открытиями, чистые, полнокровные стихи. Очень мои. Мгновенно узнаваемые. Наверное, добрых два тома наберется. Никогда эти вещи свои не подсчитывал. Они терялись, уничтожались, находились, вспоминались. Они выжили. И сейчас живут. И ни одна строка из этого добра доселе не опубликована. Когда-нибудь, возможно, издадут это. А также — неопубликованные стихи семидесятых и восьмидесятых. Будет «Неизданный Алейников». Как был издан том «Неизданный Хлебников». Надеюсь, что издадут и многие мои неопубликованные переводы. В годы скитаний большое количество моих текстов было утрачено. В искусстве нужны жертвы. Но не такие ведь глобальные, как у меня. Однако — все у нас бывает. В том числе и чудеса. Когда я поселился в Коктебеле, у меня открылась вторая память. И я стал вспоминать, а потом и записывать, прежние свои тексты. А потом, по частям, ко мне вернулась изрядная часть давних текстов, которые я считал безнадежно пропавшими. Их сохранили и вернули мне, уже в девяностых, некоторые хорошие люди. И моя мама сохранила в нашем криворожском доме давние мои стихи и прозу. И сейчас я пишу эти строки в окружении груд своих рукописей. Тексты записаны в основном от руки и находятся в разном состоянии. Иногда это машинопись. Все — в единственном экземпляре. Понимаю, что пора мне привести в порядок эти уцелевшие в прежних невзгодах писания, стихи и прозу, перепечатать их, внести в компьютер. Но, как я обычно выражаюсь, головы на все не хватает. Ведь я постоянно пишу новые вещи, прозу, и время тогда идет по-другому, и я живу словно в другом измерении. Ничего, с Божьей помощью, поступательно, сделаю все необходимое. Мне рассказывали, что Владимир Микушевич, рассуждая о

моих частично изданных ранних стихах (тех, которые сохранились и были у меня в то время, когда в начале девяностых возникла возможность издания книг), говорил, что Артюру Рембо, в таком же возрасте, как и я, сформировавшийся как поэт, бросил писать стихи, а я не бросил, продолжил и этим вроде как победил. Думаю, что Рембо оставил поэзию потому, что, после «Озарений» и «Сезона в аду», он устранился открывшихся ему видений. В поэзии нужна — отвага. Писать я начал еще в школьные годы, лет в двенадцать. Сочинял вначале прозу — приключения, фантастику. Потом стал писать о реальной жизни. И несколько позднее — пришли стихи. С тех пор продолжаю их писать. В юности я непрерывно, очень много работал над своими текстами. Это была для меня необходимейшая школа. Хорошо, что она была. Вскоре пришло и мастерство. Дальше были — совершенствование, развитие, путь. Вот и получается, что первая моя публикация — вроде и ни при чем. И до этого немало всего было написано, и после этого. И никакую дату не стану я отмечать. Я и семидесятилетие свое не отмечал. Зачем подводить какие-то итоги? Пусть все находится в движении. Я, как и прежде, — в пути. Сказано ведь: «дорога — это жизнь». Вот именно. Мне еще многое надо суметь сделать.

— *Вы думали в молодости, что будете писать всю жизнь?*

— Я знал это с детства.

— *Как Вам кажется, возможен ли в ближайшем будущем этакий СМОГ-2?*

— Новый СМОГ невозможен. Все хорошее бывает один раз. СМОГ — это я и Губанов. Оба мы — лидеры. Все остальные — потом. Идея содружества была моей. Название, аббревиатуру, — девиз, пароль, боевой клич, для нашего поколения, да и не только для него, придумал Губанов. Он, с таким вызовом, расшифровывал аббревиатуру — Самое Молодое Общество Гениев. Я предпочитал говорить — Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Пусть из-за нашего СМОГа была искорежена моя судьба, пусть из-за него было у меня слишком уж много неприятностей и бед, пусть из-за него меня четверть века не издавали на родине. Далее — «и так далее». Да мало ли что еще бывало! Было — и сплыло. И я выжил. И, слава богу, и ныне жив. Но СМОГ — явление. Причем небывалое. И оно уже не повторится. Нет ему аналогов. Нет и хотя бы отдаленного его подобия. Он — один такой. Он уникален. СМОГ появиться мог только в середине шестидесятых. И хотя власти, принявшие все возможные меры для того, чтобы уничтожить его на корню, утверждали, что он разгромлен, и это, видимо, их частично успокаивало, никуда он не делся. Все мы продолжали жить, работать, общаться. Эпоха

была непростой. Это ведь и без объяснений понятно. В нашем сражении бывали и победы, и утраты. Некоторых смогистов уже нет на свете. Но и сейчас, откуда живы мы, ныне здравствующие участники этого содружества, несколько человек, седые люди почтенного возраста, сумевшие выжить, состояться, создать нечто серьезное в русской словесности, СМОГ существует. Мне столько раз приходилось писать и рассказывать о СМОГе, да и сейчас приходится, что я иногда в сердцах говорю — мол, надоел мне этот СМОГ хуже горькой редьки. Я всегда был сам по себе. Любая стадность мне чужда и противна. Содружество наше задумывалось как творческое, избирательное, для считанных участников. А нахлынула в него целая свора всяких оглоедов, и кое-кто из них, работая на соответствующие органы, так и норовил свернуть все на политические рельсы, из-за чего и начались репрессии. Политикой я сроду не занимался. Хотя среди моих друзей и знакомых были и правозащитники. Но раньше все друг друга знали. Пришлось многолетнюю череду неприятностей пережить. И то, что меня не печатали, — цветочки. Подразумевались и ягодки. Могли и посадить. Ни за что. Для острастки. В назидание другим. Могли и убить. Голову мне после чтений стихов разбивали. Кто это делал? Поди гадай теперь! У меня семь сотрясений мозга. И я в начале восьмидесятых, после очередного избиения, вообще перестал читать стихи на людях. Растянулось это почти на двадцать лет. Когда у меня, после всех предыдущих трудных лет, образовалась семья, появились дети, надо было нам на что-то жить. Поначалу соглашался я на любые литературные заработки. Выручили меня — переводы. В этом качестве, как оказалось, власти я устраивал. Переводил я в восьмидесятых поэзию народов СССР. Переводил очень хорошо. Ко мне уже стояла очередь национальных авторов, желающих, чтобы их стихи перевел именно я. Выходили книги переводов. Было множество публикаций в периодике. Я уже думал, что так вот и буду годами, десятилетиями, существовать со статусом переводчика, пусть и хорошего, пусть и вынужденно, да все же признанного властями, что публиковать мои стихи в периодике если и будут, то лишь изредка, да и то с купюрами, с цензорским вмешательством в тексты, что мои собственные сборники стихов, при благополучном стечении обстоятельств, когда-нибудь, в лучшем случае раз в пять-семь лет, может быть, основательно изуродовав тексты, как это было сплошь и рядом принято тогда, и будут издавать, да и то было это под вопросом. Я относился к переводам очень серьезно. И вкладывал в них много своего. Переводы поэзии — это ведь как в музыке, переложение с инструмента на инструмент. Надо сохранять дух, а не букву. Надо, чтобы переведенные стихи жили

в русской речи. И чем лучше поэт, который переводит чьи-то стихи, тем лучше и переводы. Но переводы, как верно утверждал Мандельштам, иссушают мозг. Мне надоело улучшать чьи-то тексты своими собственными словами. И вот, по чутью, как всегда у меня бывает, в девяностом году, переводить я решительно прекратил. И началась как раз именно тогда, словно подтверждающая возможность чудес в нашей стране, пора свободного книгопечатания. И у меня вышли, одна за другой, несколько больших книг стихов. И начались некоторые изменения в моей жизни. Чудеса продолжались. И вскоре стал я жить в Коктебеле. И сразу же стал интенсивно, очень много работать, совершенно не думая об издании текстов. Мне было некогда. Я весь был в своих трудах. А потом, видимо, настало время и для изданий. И в начале нового века начали выходить мои книги. И это продолжается. Ну а СМОГ мне и раньше охотно припоминали разные недоброжелатели, да и нынче такое бывает. Вот и сказал я однажды Рейну, что надоел мне СМОГ. Женя тут же ответил, что у него такая же история с Бродским. И добавил, что СМОГ — просто некий довесок ко мне, что я всегда был сам по себе, независимым, самостоятельным. Хорошо, что это он понимает. О СМОГе приходится мне рассказывать и писать потому, что больше никто не знает всего, что было в этот период, так хорошо, как знаю я. И не только еще живым могикам богемы это интересно и важно, поскольку они, свидетели прежних событий, хотят, чтобы память об этом осталась, но и подросшим, молодым поколениям. Вот и приходится мне, поворачав, продолжать свое дело просветителя человечества. Кто-то из литературоведов назвал меня в прессе «Нестором отечественного андеграунда». Так вот живешь — и что-нибудь новое о себе иногда узнаешь. Какой-то злостный псевдокритик в своей статейке написал, что нет у меня другой легенды, кроме СМОГа. Заурядная чушь! Я и сам — давно уже легенда. Куда изредка ни придешь, везде прежде всего слышишь, что я — живая легенда. И это ведь правда. Когда-то, в молодости, у меня, не издававшегося, неофициального поэта, стихи которого широко расходились только в самиздате, не просто известность, но настоящая слава была такой невероятной, что я, вспоминая об этом, сам себе удивляясь, только вздыхаю да покачиваю седой своей головой. На мои чтения стихов собирались толпы слушателей. Время было орфическим. Стихи тогда прекрасно воспринимались людьми с голоса. Мое чтение стихов, как утверждают люди, слышавшие это чтение в прежние годы, было настоящим искусством, особым, неповторимым. И записей моего давнего чтения практически нет. Магнитофоны тогда были редкостью. Это сейчас техника стала такой, что сделать видеозапись

довольно легко. Да только до сих пор нет ни одной большой, ретроспективной записи моего чтения стихов. Так, понемногу, что-то появилось кое-где. Может быть, кто-нибудь еще спохватится, сделает большую запись. Если поймет, что давно пора это сделать. Нынче мне трудно стало читать стихи на моих редких творческих вечерах. Концентрация стихов такова, что я, читая их, особенно давние вещи, мгновенно, до секунды, вспоминаю все, что было когда-то, что связано с их написанием, и перехватывает дыхание, я волнуюсь, мне приходится продолжать читать на одной воле. Поэтому нынче я предпочитаю, чтобы стихи мои люди читали с листа. Чтобы находились наедине с моими изданными книгами.

— У Бориса Слуцкого есть такие строчки: «*Расспросите меня про Сталина — я его современником был*». А Вы себя чьим современником считаете?

— Да мало ли чьим был я современником! Изрядное количество людей, а вернее, множество людей, уже несколько поколений, — мои современники. Хлебников, когда его приятели-футуристы спорили, кто из них какой поэт, сказал: «А таких, как я, вообще больше нет». Могу я и о себе это сказать. Хлебников говорил: написал он столько стихов, что хватит их на мост до серебряного месяца. Думаю, моих стихов хватит для того, чтобы выйти за пределы солнечной системы. Так уж получилось, что написал я много всего. Значит, было что сказать. И еще напишу, даст Бог. Дело ведь не в количестве. Мой любимый композитор Бах тоже много музыки написал, до сих пор что-нибудь из его сочинений где-нибудь да находят. Жизнь моя, в которой всякое бывало, продолжается. И главнейшее в ней — творчество.

— Сохранились ли дружеские отношения с Эдуардом Лимоновым?

— Не сохранились. Он плохо ведет себя по отношению к прежним друзьям, в том числе и ко мне, в прежнюю эпоху сделавшему для него много доброго. Пусть живет так, как считает нужным. Его не переделаешь.

— В одном из интервью Вы сказали, что поэту нужна «отзывчивость среды». Кто и как сейчас увеличивает эту самую отзывчивость?

— Как можно увеличивать отзывчивость? Она или есть у людей, или ее нет и в помине. И среда — или она есть, или ее нет. Прежнюю нашу среду, которая действительно была отзывчивой, уже не вернешь. Многие мои друзья, приятели и знакомые умерли. Некоторые — живы. Но неофициальная, андеграундная, как теперь выражаются, наша среда — ушла вместе с прежней эпохой. Ныне я один остался — помнящий все и умеющий сказать об этом. Вот и пишу свои книги прозы, свою прозу поэта, свободную, ассоциативную, полифоничную, порою ритмическую, тяготеющую к поэзии, своеобразные воспоминания

о том, что было когда-то, о людях, которых я знал. Больше некому это сделать. Мои книги прозы образуют большую серию. Каждая книга имеет свое название. Общее название серии — «Отзывчивая среда». По известному выражению Чаадаева: «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». Часть книг прозы издана, часть — в работе. Конечно, есть у меня и другая проза — романы, рассказы, эссе, записки. Все это не издано. Может быть, дождется издания. Ждать — значит жить. Умение ждать давно уже стало у меня искусством. И кое-чего я все-таки дождался. Когда я не заботился о том, чтобы пристраивать свои писания. Срабатывает прежняя наша этика: никуда не ходить, никого ни о чем не просить. Все с изданиями получалось у меня как-то само собою. Все мои издания книг — случайны. Слово по волшебству. Может быть, это надо было выстрадать. Возможно, я это заслужил. В начале нового века начали выходить мои книги в разных издательствах. Издания — продолжают. В 2015 году в Москве, в издательстве «Рипол классик», вышло мое собрание сочинений в восьми томах. Большие тома, по восемьсот страниц. Три тома стихов, пять томов прозы. В этом собрании нет и половины написанного мною более чем за полвека работы. Но оно дает достаточное представление о моих писаниях. Я очень благодарен Сергею Михайловичу Макаренкову, генеральному директору «Рипола», за его издательский подвиг. Он понимает меня. И человек он отзывчивый. Есть и другие понимающие, отзывчивые люди — издатели, способствующие выходу моих книг, редакторы, публикующие мои вещи в периодике, в бумажных и в интернетовских журналах и альманахах. Есть люди, написавшие о моих стихах и прозе различные тексты-высказывания, а также серьезные статьи, рецензии и эссе. Есть люди разного возраста, понимающие и любящие мои стихи и прозу, по своим человеческим достоинствам дорогие для меня. Всем этим современникам я признателен — за их внимание ко мне и к моим писаниям. Сам я, в меру своих сил и возможностей, на протяжении многих лет делаю в периодических изданиях публикации текстов своих друзей и соратников по нашему отечественному андеграунду, пишу предисловия и послесловия к их книгам, стараюсь помогать некоторым достойным авторам из молодых поколений. Значит, отзывчивая среда существует и сейчас.

— Еще одна Ваша цитата: «*Поэзия — крылатое горение... Стихи должны помогать жить, в них обязательно должны быть свет, благородство*». Но то же самое можно сказать о любом творчестве, не так ли?

— Мои стихи действительно помогают людям жить. На протяжении половины столетия самые разные люди, и молодые, и пожилые, неоднократно говори-

ли мне об этом. Я и сам это знаю. Творчество — должно быть именно таким. Значит, есть в моих стихах созидательная энергия, есть осязаемое многими притяжение тайны, есть нечто такое, что дает людям возможность чувствовать себя свободнее и увереннее в жизни, есть и наиважнейшее: я продлеваю дыхание речи. Незабвенная Мария Николаевна Изергина говорила в Коктебеле: «Все поэты вокруг ноют и ноют, и только у Алейникова, даже в трагических стихах, всегда есть свет». И еще она говорила: «Алейников — русский поэт, потому что он мыслит по-русски». Она была блестяще образованна и очень умна. Особенности мышления поэта — практически всё определяют. Русская поэзия — это сама жизнь. В ней, помимо множества прочих компонентов, всегда присутствует радость. А это — великая сила. Крылатое горение — не высокопарная фраза, а сущая правда. Настоящее горение — основа настоящего творчества. И оно должно быть крылатым. Должно уметь летать, быть выше и мирских безобразий, и заурядной повседневности. Обязано — быть на высоте. Без света и благородства — не бывает ни настоящих стихов, ни другого — вовсе не любого, а настоящего — творчества.

— *Как Вы считаете, живет поэзия в поэте — или поэт в поэзии?*

— Поэзия живет в нашем мире. И поэт — живет в нашем мире, таком, каков он есть. Стихи — приходят к поэту. Он записывает их. И, если они настоящие, они становятся частью общемировой поэзии.

— *Известно Ваше неоднозначное отношение к Бродскому и Евтушенко. А ведь их творчество — неотъемлемая часть русской культуры. Или они указали своим апологетам тропинку к обрыву?*

— Лучше всех сказала Марина Савиных: «Бродский — кухня, Алейников — вселенная». Все этим сказано. Бродский — мой антипод. Его стихи не способны помогать людям жить. Это некие раздражители, рифмованное выражение взвинченных состояний, зачастую довольно резкое или даже грубое, переполненное мнимой парадоксальностью, а сама речь, то есть главное, весьма скудна. Породив множество подражателей, он нанес русской поэзии намного больше вреда, чем Маяковский. Когда-то Заболоцкий, если при нем говорили о Маяковском, сразу вставал и уходил. Я хорошо его понимаю. Арсений Александрович Тарковский в прежние годы говорил, что при чтении стихов Бродского у него возникает ощущение, будто автор отправился погулять, а стихи сочиняет машина. И он был прав. Ну а Евтушенко получил от жизни все, что только можно было получить. Но работает инерция. Человек пишет и пишет. Из несметного количества его стихов можно сложить небольшую книжку, вещей в тридцать, и это будут, пожалуй, хорошие стихи. С ого-

воркой: для прежнего времени, на безрыбье. Мой друг Анатолий Лейкин, писатель и хороший редактор, в девяностых редактировал собрание сочинений Евтушенко. Известно ведь, что Евтушенко соглашался на любые поправки и купюры в стихах, только бы это было напечатано. Лейкин с трудом изыскивал подлинные тексты. Однажды Евтушенко пришел к Лейкину и с грустью рассказал, что он купил и прочитал собрание сочинений Марины Цветаевой — и понял, что по сравнению с ней он пигмей. Хорошо, конечно, что он это осознал. Но это ведь его не остановило. Как писал, так и продолжает непрерывно писать. Не мое это дело — разбираться с творчеством двух этих авторов. Пусть этим занимаются литературоведы. И последнее дело — учить кого-нибудь жить. Гумилев говорил Ахматовой: «Аня, если я буду кого-нибудь учить жить, ты меня сразу отрави». Настоящие стихи не учат жить — они помогают людям жить. Сознательно говорю об этом еще раз.

— *В Вашей поэтической жизни даже друзья рифмуются: Губанов — Губайдулина. А как Вы думаете, с кем бы Вас зарифмовал Ваш друг Евгений Рейн?*

— Вряд ли Губанов рифмуется с Губайдулиной. И стихи его далеки от той авангардной музыки, которую сочиняет Губайдулина. Кстати, правильная фамилия Губанова и всей его родни — Шалимов. Дед губановский, по отцовской линии, был вроде большевиком, его сослали, из ссылки он бежал и поменял фамилию на Губанова, так и прожил. Ну а Рейн, полагаю, ни с кем не зарифмовал бы меня. Человек он талантливый, но — с некоторыми, присущими только ему и накрепко сросшимися с ним, особенностями характера и поведения. Несмотря на свой солидный возраст, непрерывно продолжает наверстывать упущенное в прежние годы. Иногда спохватывается и твердит мне, какой я из себя великий поэт и друг. И при этом ни на секунду не забывает о себе. И его можно понять. Пусть радуется образовавшейся возможности широко издаваться, получать премии, ездить по разным странам, пусть будет благодарен судьбе и счастливо сложившейся жизни.

— *Геннадий Айги считал Вас самым музыкальным русским поэтом после Батюшкова. Какую роль играет музыка в Вашей жизни, много ли любимых композиторов?*

— Айги действительно так считал. И не только он. Музыкой занимался я с детства. Роль музыки в моей жизни огромна. Любимых композиторов — немало. Стихи мои — тоже музыка. Одна из моих книг стихов так и называется — «Быть музыке».

— *Бог троицу любит: процитирую Вас в третий раз! «Стихи якобы ни о чем — это высший пилотаж для поэта». Из чего возникает это самое «якобы»?*

— Флобер всю жизнь мечтал написать книгу «ни о чем». И одновременно — обо всем. Абсолютно свободную от всяких канонов и правил. О такой книге мечтал и Бунин. Частично ему это удалось — в «Жизни Арсеньева». Стихи «якобы ни о чем» и в то же время о разнообразнейших проявлениях бытия, о непрерывности жизни, о единстве всего сущего, есть у Верлена, Анненского, Хлебникова, есть и у других

поэтов. Есть они и у меня. Такие стихи — именно высший пилотаж. Потому что достигается максимальная, небывалая концентрация, из штрихов, намеков, деталей, иносказаний, верно найденных слов, из самой фонетики, из музыки стихотворения возникает изумительный синтез. Говоря проще, проявляется и утверждается, во всей своей красе и силе, сама речь.

Беседовал Юрий Татаренко